
Стин Гален
Вельский:
Третий год войны.

Стин Гален

Вельский: Третий год войны.

«Автор»
2026

Гален С.

Вельский: Третий год войны. / С. Гален — «Автор», 2026

Артём ехал домой с срочной службы и погиб в тамбуре поезда, влезши в чужую драку. Очнулся он в окопе чужой войны — в теле младшего сына обедневшего рода, среди людей, которые зовут его своим и ждут от него того, чего он не умеет.Империя Тарния воюет третий год и проигрывает. У неё есть дворяне, дуэли и Особый приказ, который ведёт учёт одарённых, как учёт патронов. У Артёма есть то, чего не было ни у кого из его новых родных: память о книгах по тактике и истории войн, упрямство и редчайший дар — магия крови, за которую в этом мире клеймят, берут подписку о невыезде и не отпускают до смерти.Он не собирался спасать империю. Он собирался выжить и понять, за что здесь умирают люди, которых он никогда не знал. Но чем выше он поднимается — от окопа до кабинетов, где за чаем решают, кого отправить в гиблое место, — тем яснее видит: война нужна не тем, кто на фронте. И его кровь для кого-то — просто расход.

© Гален С., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Поезд и нож 5
Чужое имя 10
Утро 17
Кровь на руках 25
Отход 33
Мёртвая рота 40
Конец ознакомительного фрагмента. 43

Вельский: Третий год войны.

Поезд и нож

Дембельский рюкзак я пристроил на верхнюю полку и привязал ремнём к поручню, потому что за двое суток в этом вагоне у меня уже утащили бы и его, и меня вместе с ним. Внизу храпел мужик с коробкой из-под телевизора, у окна женщина кормила ребёнка печеньем и смотрела в темноту так, будто там было что-то кроме столбов. Пахло варёной курицей и мокрой обувью, из тамбура тянуло табаком.

Я не спал третьи сутки. Сначала провожали, потом трясло, потом до дома оставалось меньше суток, и я всё равно не мог.

В армии меня научили двум вещам: тянуть кабель и не задавать вопросов. Связист — половина армии, — говорил наш сержант, — вторая половина таскает то, что связист натянул. За год я натянул столько, что мне иногда снились катушки. Я умел сращивать провод в темноте, знал, где у «табуретки» слабое место, и мог с закрытыми глазами собрать коммутатор, который до меня собирали только с матом. Про войну я знал другое: что при артподготовке нельзя бежать вперёд, что окоп надо рыть в полный профиль, а не на полштыка, и что если тебе кажется, что всё тихо, значит, кто-то уже пристрелялся. Это всё было из книг. Книг я прочитал много, ещё до армии, и после отбоя, с телефона под одеялом, потому что в казарме свет гасят в десять.

Отец мой воевал в Чечне и про войну не рассказывал ничего, кроме того, что там жарко и что сапоги надо брать на размер больше. Я думал, что понимаю почему. Теперь, глядя на столбы, я думал, что не понимаю вообще ничего.

В тамбуре загремело. Я услышал женский голос, потом мужской, густой и пьяный, потом опять женский, на той ноте, на которой люди уже не просят, а кричат.

В армии есть правило: не лезь. Не твоё — не трогай, за тебя командир думает. Я это правило знал и в общем-то соблюдал, потому что за год ни разу не было повода. Я встал.

В тамбуре стояла женщина лет сорока с большой клетчатой сумкой и прижимала её к себе, как ребёнка. Перед ней покачивались двое: один в расстёгнутой куртке, с лицом, красным даже в жёлтом свете лампочки, второй помоложе, в спортивных штанах и с бутылкой пива в кулаке. Молодой тянул сумку за ручку и говорил:

— Да открой ты, чего ты, мы посмотрим и отдадим.

— Мне ехать, — сказала женщина. — Мне на пересадку.

— Ну и езжай, — согласился тот, что постарше. — Сумку оставь.

Я вышел в тамбур.

— Мужики, — сказал я. — Хватит.

Молодой обернулся. Он был мне по плечо, но пьяным море по колено, и в глазах у него было весёлое любопытство, как у человека, который ещё не решил, что ему интереснее: отобрать сумку или просто поорать.

— Тебе чё надо, солдатик? — спросил он.

— Мне ехать, — сказал я. — И ей ехать. Отпусти сумку.

— Во, — сказал постарше, ни к кому не обращаясь. — Заступник. Служил, значит?

— Служил.

— И чё теперь, герой?

Он шагнул ко мне и толкнул в грудь ладонью. Я отступил на полшага, потому что в тамбуре драться негде, а падать некуда тем более. За спиной была дверь в вагон, за дверью спали люди.

— Мужики, — повторил я, — давайте без этого. Поезд, люди спят.

Он толкнул второй раз, сильнее. Я перехватил его руку и вывернул ему кисть, потому что за год в казарме этому учат раньше, чем писать рапорт. Он взвыл и согнулся, а молодой с бутылкой вдруг бросил сумку и полез в карман куртки.

Я успел подумать, что сумку он бросил зря, потому что женщина уже подхватила её и шагнула к двери. Потом он достал нож.

Ножи в казарме тоже были, только тупые, для масла и для резки кабеля, и дрались ими редко. Этот был короткий, с тёмной ручкой, и он держал его так, как держат люди, которые никогда не учились, то есть снизу, как карандаш.

— Ты чё, — сказал он. — Ты чё.

— Убери нож, — сказал я.

За год меня учили не бояться. Меня учили бегать в бронике, падать в грязь, натягивать провод под выстрелами, которых не было, и орать «ложись», когда прилетит. Но это была учебка. В учебке нож был деревянный.

Он шагнул, и я шагнул, потому что в тамбуре было тесно и потому что если бы я отступил, он бы ударил женщину, которая всё ещё стояла у двери с сумкой. Я перехватил его руку и поймал его за грудки, и он был пьяный и лёгкий, а я год таскал катушки. Я уже начал разворачивать его к стене, когда старший, всё ещё согнутый, ударил меня плечом в бок.

Толчок был несильный. Я бы его даже не заметил.

А потом стало горячо.

Я не сразу понял, что это нож. Сначала было просто горячо, как если бы прислониться к раскалённой печке, и я подумал: зачем здесь печка. Потом горячо стало ниже и глубже, и я ощупал бок и нашёл на куртке липкое. Я поднял руку к лицу и увидел на пальцах кровь, чёрную в жёлтом свете тамбурной лампочки.

— Бля, — сказал молодой. — Бля, ты чё.

Он попятился, и нож у него всё ещё был в руке, и на ноже блестело. Женщина заорала.

Я сел на пол, потому что стоять стало непонятно как. Пол в тамбуре был металлический, холодный, с выступами, и через щели в нём поддувало. Я слышал, как далеко впереди поезд даёт гудок, и как в вагоне открываются двери, и как кто-то кричит: «Скорую, скорую, тётка, скорую!»

Кровь шла из меня и растекалась по полу, и я подумал, что вот сейчас мне надо взять тряпку и прижать, потому что при кровотечении надо прижать, этому учили на первой же неделе. Но рука у меня уже не слушалась, а голова стала лёгкой и чистой, и всё вокруг сделалось очень медленным.

Я подумал о матери. Она ждёт меня во вторник, в четыре, на первом пути, и у неё есть фотография, где я в форме и с усами, которых у меня нет.

Поезд начал тормозить, и я почувствовал, как его тянет назад, как будто кто-то взял весь состав за хвост.

А потом стало темно, и в этой темноте было гулко, как в бочке.

Гул был ровный, как будто рядом работал большой мотор, и в нём не было ни боли, ни холода, ни страха, только неудобство, как когда отсидишь ногу.

— Рано, — сказал голос.

Голос не был ни мужским, ни женским. Он не звучал в ушах, он был внутри, и я не мог понять, откуда он идёт, потому что вокруг не было ничего, откуда он мог бы идти.

— Я умер? — спросил я. Голоса у меня тоже не было, но вопрос прозвучал.

— Умер. Раньше срока. Ты не сделал того, для чего родился.

Я хотел спросить, для чего именно, но в темноте не было ни времени, ни места, а голос не ждал.

— И что теперь? — спросил я.

— Тебе дают второй шанс. — Он помолчал. — Не благодари. Больше не дадут.

— А что я должен сделать?

— Узнаешь, когда придёт время. — И добавил уже тише, почти без голоса: — Постарайся не умереть раньше времени.

Гул стал громче, в него влезли другие звуки: скрип, чей-то кашель. Потом я почувствовал, что лежу на чём-то твёрдом и холодном, и что у меня болит голова, и что в рот мне льют что-то жгучее.

Я закашлялся и сел.

Вокруг был окоп. Настоящий, из глины и жердей, с водой на дне и настилом из мокрых досок, на котором я и лежал. Надо мной висело небо, серое, низкое, без солнца, и пахло мокрой шерстью, землёй и чем-то гнилым. Рядом сидели люди в шинелях, серых, с потёртыми локтями, и смотрели на меня.

— Очнулся, — сказал один, с усами и с фляжкой в руке. — Живой?

Я хотел сказать «живой», но из горла вышел хрип.

— Контузило тебя, — сказал усатый и убрал фляжку. — Ничего, до утра оклемаешься. Послезавтра в наступление, так что радуйся, что тебя приложило, а не убило.

Я смотрел на свои руки. Они были не мои. Худые, длинные, с обкусанными ногтями и ссадиной на костяшке, и на левом запястье был след от ремешка часов, которых не было. Я поднёс руку к лицу и ощупал подбородок, нос, бровь. На левой брови был шрам, и под пальцами он был старый, заживший.

— Эй, — сказал усатый. — Ты чего?

— Где я? — спросил я. Голос был чужой, хриплый, ниже моего, и слова выходили медленно, будто язык забыл, как это делается.

Усатый посмотрел на меня внимательно.

— В окопе, где ж ещё, — сказал он. — Вельский, ты это, сядь ровно. Тебя в воронке нашли, думали, всё, кранты.

Вельский.

За спиной кто-то засмеялся, коротко и без веселья, и кто-то сказал:

— Артём, ты чего смурной такой? Не узнал нас?

Меня зовут Артём. Всю жизнь зовут Артём, и в поезде, и в части, и мать на перроне будет кричать «Артём», когда я выйду из вагона.

Я всё равно не помнил этих людей.

Я сидел на мокрых досках в чужой шинели, в чужом теле, в окопе, которого не было ни на одной карте, и слушал, как кто-то справа считает патроны, вслух, по одному, будто читает молитву.

— Послезавтра, — сказал усатый, — пойдём. — Он поднялся и крикнул вдоль окопа: — Ужин, потом спать! Всем спать, послезавтра света не увидим!

Я остался сидеть. Больше вторых шансов не будет, сказал тот голос.

Ужин принесли в мятых вёдрах: каша, серо-жёлтая, с комками, и хлеб, тёмный и кислый, нарезанный крупными ломтями. Я взял свою долю и не сразу понял, что голоден так, что руки дрожат. Ел и смотрел по сторонам, стараясь не слишком вертеть головой.

В окопе нас было человек тридцать. Кто-то спал, укрывшись с головой, кто-то чистил винтовку, кто-то сидел на корточках и молчал. Усатый, который лил мне из фляжки, оказался сержантом: все звали его «господин сержант», и он это принимал как должное.

После ужина принесли патроны. Капрал, молодой парень с багровым от ветра лицом, шёл вдоль окопа и выдавал бумажные пачки, по десять штук, и каждый, кто брал, пересчитывал.

— Вельский, — сказал капрал, дойдя до меня. — Твои.

Я взял пачку. Патроны были тяжёлые, в латуни, с тупым концом пули, и пахли смазкой. Я пересчитал их дважды, потому что не знал, что ещё с ними делать.

Винтовка стояла у стены, прислонённая к жерди. Я взял её и удивился весу: она была тяжелее, чем казалась, длинная, с деревянным ложем в царапинах и с налипшей грязью у затвора. В учебке я держал автомат, разбирал его с закрытыми глазами и мог рассказать, где какая пружина, но это было другое оружие. Однозарядное, с длинным стволом, и на весь бой у меня было десять патронов.

— Непривычно? — спросил парень слева. Он был мой ровесник, с рыжими бровями и без двух передних зубов. — Ничего, привыкнешь. Главное, штык примкни заранее, а то потом некогда будет.

Я кивнул. Имени его я не знал.

Я вообще не знал имён. Кроме сержанта, которого звали не по имени, и капрала, к которому обращались «капрал», все остальные были для меня лицами без подписей. Спросить было нельзя: свой человек не спрашивает, как зовут соседа, с которым просидел в окопе какое-то время. Я решил, что запомню по разговорам, и стал слушать.

— Завтра, — сказал рыжий, — как пойдём? В полный рост?

— Как прикажут, — сказал сержант.

— Прикажут умереть, — сказал кто-то из темноты, — и умрём.

— Ты, Заяц, помолчи, — сказал сержант без злости.

Заяц. Значит, у них были не только имена, но и клички. Я попробовал прикинуть, кто здесь кто, и понял, что не запомню и половины.

— Господа офицеры завтра сзади будут, — сказал рыжий. — Они всегда сзади.

— Не все, — сказал сержант. — Второй батальон в прошлый раз весь лёг, и поручик их тоже.

Разговор увял. Кто-то снова начал пересчитывать патроны, вслух, по одному. Я слушал и думал, что если мне сейчас скажут встать и идти, я пойду, потому что не знаю, куда ещё идти.

— Вельский, — сказал сержант, — ты чего молчишь?

— Голова болит, — сказал я.

— Контузия, — сказал он. — Ничего. До утра пройдёт.

Он посмотрел на меня внимательнее, чем мне хотелось.

— Из какого ты полка-то?

Я открыл рот и не нашёл ответа. Голова была пустая, как ведро, и все слова, какие были, я оставил в темноте вместе с голосом.

— Из четвёртого, — сказал я наконец, потому что четвёртый был первым, что пришло.

— Из четвёртого, — повторил сержант. — Четвёртый под Литвой стоял.

— Под Литвой, — согласился я.

Он ещё немного посмотрел на меня и отвернулся. Я понял, что не соврал и не сказал правды, а просто угадал, и что однажды угадать не выйдет, и от этого мне стало холоднее, чем было.

Легли мы поздно. Мне досталось место у стены, на настиле, и шинель, которая пахла чужим потом и табаком. Я лежал и смотрел вверх, там, где над окопом было небо, чёрное и пустое.

Голос из темноты сказал, что я умер рано и не сделал того, для чего родился. Я лежал в чужой шинели и думал, что ничего не знаю об этом человеке: ни как его зовут по-настоящему, ни сколько ему лет, ни есть ли у него мать, которая, может, тоже ждёт его на каком-нибудь перроне.

Я знал только, что послезавтра нам идти в атаку, и что у меня десять патронов.

Рядом кто-то заворочался и сказал мне в спину:

— Спи, Вельский. Утром всё равно рано вставать.

Я не спал.

Сначала я лежал и слушал. Окоп дышал: кто-то храпел с присвистом, кто-то бормотал во сне, где-то капала вода, и раз в минуту по настилу проходил человек, и доски прогибались под сапогами. Я считал шаги и сбивался, и начинал заново.

Потом я стал проверять себя. Руки я уже видел, но теперь я их ощупал по-настоящему: ладони узкие, мозолей почти нет, только на правой, у основания пальцев, и те мягкие, будто человек не работал руками, а держал перо. Я провёл ладонями по лицу, по шее, по груди. Тело было худое и молодое, но битое: под левой ключицей был старый шрам, на рёбрах ссадина, а на плече, там, где шинель натирает, кожа была грубая, как у человека, который долго носит одно и то же.

Я сунул руку в карман шинели. Там нашлась сложенная вчетверо бумага, мягкая, затёртая по сгибам, и монеты: три медных, одна потемнее, с профилем человека в венце, стёртым до гладкости. Я поднёс бумагу к лицу, но в окопе было темно, и я разобрал только отдельные буквы, похожие на наши: «Арт... Вель...». Остальное было написано от руки, с нажимом, и в темноте расплывалось.

Буквы были наши. Слова были наши. И всё равно я ничего не понимал.

Я вспомнил, как сержант сказал «под Литвой», и как я согласился, и как он посмотрел на меня после этого. Литва была в моём мире. Может, и здесь была Литва. Может, я никуда не попал, а просто сошёл с ума в поезде, и всё это мне снится в реанимации, и скоро придёт мать и скажет: «Артём, ты чего».

Я ущипнул себя за руку, сильно, до боли. Рука болела, окоп не исчезал.

Тогда я сел и взял винтовку. На ощупь нашёл затвор, потянул, и он пошёл туго, с металлическим скрипом. Внутри было пусто. Я вставил патрон, дослал затвор и почувствовал, как он встал на место, тяжело и окончательно. Один патрон в стволе, девять в пачке за пазухой, и штык, который я примкнул заранее, как учил рыжий.

Я посмотрел вверх.

Неба я не узнал. Звёзд было много, гораздо больше, чем в городе, и они стояли не так, как должны были стоять. Я искал Ковш, потому что Ковш я находил всегда, с детства, раньше всех остальных созвездий. Ковша не было. Было что-то похожее, четыре звезды и ручка, но не там, где надо, и не то.

Луна тоже висела не с той стороны. Я не мог сказать, с какой стороны она должна висеть, но я знал, что не с этой.

Я лежал и смотрел на чужое небо, и в какой-то момент страх ушёл, а осталась пустота. Как будто из меня вынули всё, что было, и оставили только тело, которое дышит, и десять патронов.

Потом я подумал о матери. Она будет стоять на первом пути во вторник, в четыре, с сумкой, в которой термос и пирожки с капустой, — она всегда берёт их с собой встречать. Поезд придёт, и из него выйдут люди, и она будет смотреть на каждого.

Где-то далеко, за окопом, ударила пушка, и звук прошёл над нами длинно, как поезд. Я лежал и ждал следующего.Так я и уснул.

Чужое имя

— Вельский. Подъём.

Я открыл глаза и не сразу понял, где нахожусь. Надо мной был низкий накат из брёвен, в щелях светлело серое, и пахло сырой землёй. Потом я вспомнил всё сразу, и от этого стало хуже, чем от холода.

— Вельский, тебя зовут или кого?

— Иду, — сказал я и сел.

Шинель на мне была чужая, сапоги чужие, и всё тело затекло так, будто я всю ночь пролежал на камнях. Я натянул сапоги, поправил шинель и выбрался из-под наката наружу.

Утро было серое и мокрое. Окоп тянулся в обе стороны, изогнутый, как кишка, с бруствером из мешков и глины, и в нём копошились люди: кто-то умывался над ведром, кто-то сворачивал скатку, кто-то сидел на корточках и жевал хлеб. За окопом, шагах в двухстах, стоял лес, мокрый и тёмный, а между лесом и нами лежало поле, изрытое воронками, с торчащими кое-где обломками чего-то, что раньше было забором.

— Становись! — заорал кто-то. — Рота, становись!

Люди задвигались быстрее. Я пошёл за ними, стараясь не обгонять и не отставать, и встал в шеренгу, потому что все вставали в шеренгу.

Капрал с багровым лицом шёл вдоль строя и выкликал имена по бумажке. Я слушал и считал: Гмыря, Заяц, Пилипенко, Бондарь, Рябов, Дьяков. Когда он дошёл до меня, я смотрел на лес и думал, что деревья здесь выше, чем у нас, и что называются они, наверное, иначе, и что я об этом никогда не узнаю.

— Вельский!

Я не отозвался. Я вообще не сразу понял, что это ко мне. Меня зовут Артём. В школе, в части и дома меня звали Артём, а Вельским я был ровно один вечер и одну ночь.

— Вельский! — повторил капрал и поднял глаза от бумажки.

Шеренга зашевелилась. Кто-то сзади толкнул меня в спину.

— Я, — сказал я. — Здесь.

— Здесь, — передразнил капрал. — Ты чего, глухой?

— Контузия, — сказал я.

— Все у тебя контузия, — сказал он, но записал что-то в бумажку и пошёл дальше.

Я стоял и смотрел прямо перед собой. Сердце билось в горле. За одну ночь я узнал, что умер, что получил второй шанс и что у меня есть десять патронов, но я не знал главного: как зовут человека, в чьём теле я стою, сколько ему лет, есть ли у него друзья, которые заметят, что он перестал быть собой.

— После завтрака, — сказал сержант, выйдя перед строем, — Вельский, Рябов, Дьяков — на воду. Пилипенко, Бондарь — патроны, получить и пересчитать. Остальные — чистить оружие. К вечеру проверю. Кто до вечера не вычистит, пойдёт в атаку с грязным затвором и будет сам виноват.

Строй рассыпался.

Завтрак был тот же, что и ужин: каша и хлеб, только каша на этот раз была горячая. Я ел и смотрел, как едят другие: кто-то черпал из ведра общей ложкой, кто-то резал хлеб на колене, кто-то макал в кашу сухарь. Я взял ложку и попробовал делать как они, и ничего не случилось, и я подумал, что это, наверное, и есть самое трудное: не выдать себя в мелочах.

Воду мы носили с ручья, который был внизу, в овраге, шагах в трёхстах. Рябов, здоровый мужик с обвисшими усами, шёл впереди и нёс два ведра на коромысле, и они у него не качались. Дьяков, молодой и молчаливый, нёс одно. Я взял два, потому что не хотел выглядеть слабее, и на полпути понял, что пожалею об этом.

— Чего молчишь? — спросил Рябов.

— Голова болит, — сказал я.

— У тебя с той воронки всё болит, — сказал он без злости. — Ничего. На войне голова — предмет необязательный.

Я не понял, шутит он или нет, и решил, что шутит, и кивнул.

На обратном пути я услышал, как Дьяков сказал Рябову вполголоса:

— Он вчера в строй не встал.

— Контуженный, — сказал Рябов.

— Контуженный, — согласился Дьяков, но посмотрел на меня через плечо.

К обеду сержант выстроил роту, и появился офицер: молодой, лет двадцати пяти, с тонкими усиками и в новой шинели, которая сидела на нём аккуратно. Солдаты подтянулись. Я подтянулся тоже, заранее.

Офицер прошёл вдоль строя, заложив руки за спину, и остановился передо мной.

— Вельский. Ты, кажется, из пополнения?

— Так точно, — сказал я, потому что «так точно» я знал.

— Из какого полка?

— Из четвёртого, — сказал я, и на этот раз голос у меня не дрогнул, потому что я уже говорил это сержанту.

— Из четвёртого, — повторил офицер. — Четвёртый под Литвой стоял.

— Так точно.

— И как тебе под Литвой?

Я почувствовал, как у меня холодеет затылок. Я не знал, что было под Литвой. Я не знал, было ли там вообще что-нибудь.

— Жарко, — сказал я. — И сапоги надо брать на размер больше.

Офицер посмотрел на меня и вдруг засмеялся, коротко и неожиданно.

— Правильно, — сказал он. — Хоть чему-то тебя там научили.

Он пошёл дальше, а я стоял и смотрел, как у него на спине дёргается шинель. Под шинелью у меня всё было цело, только на месте, куда вошёл нож в поезде, до сих пор тянуло пустотой.

После обеда мы чистили оружие. Мне досталась моя же винтовка, тяжёлая, с длинным стволом и затвором, который я вчера открыл и закрыл на ощупь. Я сел на перевёрнутое ведро, положил её на колени и попробовал вспомнить, что делал вчера.

Вышло не всё. Затвор я вынул, а потом вставил обратно и почувствовал, что он встал не так: с усилием, с каким-то металлическим скрипом. Я дёрнул ещё раз, и он заклинил.

— Слышь, — сказал Пилипенко, сидевший рядом с разложенной на тряпице винтовкой. — Ты чего его насилуешь?

Он засмеялся. Кто-то ещё засмеялся за ним. Я почувствовал, как у меня горят уши.

— Ты его как ставишь? — спросил Пилипенко. — Ты его ставишь на предохранитель, когда вынимаешь? Ты чего, солдат, первый день?

Я не знал, что ответить. Я не знал, как её разбирать и чистить, и знал только, что в ней десять патронов и что штык примыкается заранее.

— Он же контуженный, — сказал Рябов откуда-то сбоку.

— Контуженный, — сказал Пилипенко. — А затвор зачем ломает?

Над окопом было тихо. Я держал в руках чужую винтовку, и все вокруг смотрели на меня, и я чувствовал, что сегодня я им не тот, кем был вчера.

Позади меня кто-то вздохнул тяжело и с досадой.

— Дай сюда.

Я обернулся.

За мной стоял солдат лет сорока, широкий в плечах, с седой щетиной на щеках и с лицом, на котором всё было стёрто, как на старой монете. Он не смотрел на Пилипенко и не смотрел на меня. Он смотрел на винтовку.

Я отдал.

Он взял её, повернул, вынул затвор, посмотрел на свет, поставил на место, и всё это заняло у него столько времени, сколько нужно, чтобы вдохнуть и выдохнуть.

— Видал? — сказал он. — Не надо силу. Она силу не любит.

— Видал, — сказал я.

— А теперь сам.

Я взял винтовку и сделал, как он: вынул, посмотрел, поставил. Затвор встал ровно, без скрипа.

— Ну вот, — сказал он. — Ты не такой безнадёжный, как про тебя говорят.

Пилипенко за спиной фыркнул и вернулся к своей винтовке.

— Ты откуда такой, Вельский? — спросил солдат.

— Из четвёртого.

— Я не про полк. Ты винтовку держишь, как лопату.

Я не нашёлся, что сказать, и он не стал ждать.

— Ладно, — сказал он. — Контузия. Бывает. Меня в позапрошлом году так приложило, что я неделю жену свою не узнавал. — Он помолчал. — Правда, у меня и до того с этим было не очень.

Он не дал времени подумать.

— Тихон, — сказал он. — Унтер-офицер. Только тут все зовут просто Тихон.

— Артём, — сказал я и тут же понял, что сказал не то, что надо было: все звали меня Вельским, и я не знал, как зовут человека, в чьём теле я стою.

Но Тихон не удивился.

— Артём, — повторил он. — Хорошее имя. Артём у нас был, в первом взводе. Убили в феврале.

Он сказал это так же, как всё остальное, и принялся показывать мне, как чистить затвор, где смазка, а где грязь, которая заводится в самом неподходящем месте.

— Вот тут пройдёшь, — говорил он. — Тут и тут. И на сухарь не скупись, если найдёшь. Понял?

— Понял.

— Что понял?

Я повторил. Он выслушал и кивнул.

— Двадцать лет служу, — сказал он, когда я закончил, — и знаешь, что я заметил? Солдата убивает не пуля. Солдата убивает то, что он забыл, где у него что лежит. Пуля — она для тех, кто уже решил, что умрёт.

Он поднялся и пошёл вдоль окопа, а я остался сидеть с чистой винтовкой на коленях и с мыслью, что вот этот человек, наверное, единственный здесь, кто говорит со мной не как с контуженным.

Я отошёл в конец окопа, где никого не было, сел на корточки и достал из кармана шинели бумагу.

Днём она читалась. Это был не пропуск и не письмо, а лист, сложенный вчетверо, с казённой печатью в углу и неровным писарским почерком. «Артём Ильич Вельский, двадцать лет, из имения Вельских, Никольский уезд, приписан к четвёртому пехотному полку». И подпись, и дата, и ещё что-то, чего я не разобрал, потому что буквы плыли.

Двадцать лет. Значит, этому телу было столько же, сколько мне. Артём Ильич. Я попробовал произнести про себя: Артём Ильич Вельский. Имя было моё, а отчество чужое, и от этого всё внутри становилось на место и одновременно разваливалось.

Я подумал, что где-то есть имение Вельских, и что там, наверное, есть дом, и что в доме кто-то живёт. Может, мать. Может, отец. Может, брат, о котором я ничего не знал. Я представил себе дом с крышей, сад, дорогу и человека, который ходит по этой дороге и думает, что его сын на войне.

Рядом со мной на настил плюхнулся рыжий.

— Чего сидишь? — спросил он.

— Ничего, — сказал я и сложил бумагу.

— Ага. — Он не поверил, но не стал допрашивать. — Дай закурить, если есть.

— Нету.

— Плохо, — сказал он. — У Тихона стрельни, он даёт.

Он помолчал и вдруг полез за пазуху.

— Смотри.

Он достал карточку, маленькую, в потрёпанном картонном переплёте, и протянул мне. С карточки смотрела девушка лет восемнадцати, в платке, с круглым лицом и серьёзными глазами.

— Это Марья, — сказал он. — Из нашей деревни. Мы с ней с детства.

— Красивая, — сказал я.

— Ага. — Он забрал карточку и посмотрел на неё сам. — Я к ней после войны. Уже и дом заложил, и всё. Она ждёт.

Я не знал, что сказать, и сказал:

— Хорошая деревня?

— А то, — сказал он. — У нас река, лес. Летом — купаться, зимой — на печи. Скучно, конечно, так это и хорошо, что скучно.

Он посмотрел на меня.

— А ты откуда? Из Никольского, что ли?

Я вспомнил бумагу.

— Из Никольского.

— И чего там?

— Не помню, — сказал я. — После контузии.

— Ага, — сказал рыжий. — Ты вообще ничего не помнишь?

— Ничего.

Он помолчал.

— Ты странный, Вельский, — сказал он без злобы. — Ты вчера в строй не встал, а сегодня на поверке не отозвался и затвор сломал. Так не бывает, чтобы контузия так приложила. Или ты врёшь, или тебя так приложило, что тебе в госпитале место, а не в окопе.

Я смотрел на него и молчал.

— Ладно, — сказал он. — Мне-то что. Допытываться не буду. Но ты это, Вельский. — Он поднялся. — Ты в атаку-то пойдёшь, а не в госпиталь?

— Пойду, — сказал я.

— Ну и хорошо, — сказал он. — Только держись рядом с Тихоном. Он старый, его пуля не берёт.

Он убрал карточку за пазуху.

— Завтра, может, и не понадобится, — сказал он не мне, а себе.

Он ушёл.

К вечеру похолодало. Небо стало серым, потом синим, потом никаким. Мы сидели на настиле, укрывшись кто чем, и ели кашу, и Тихон сидел рядом со мной, курил папиросу, которую держал двумя пальцами, как держат что-то очень дорогое.

— Завтра в атаку, — сказал я.

— Завтра, — согласился он.

— И что, все пойдут?

— Все. Кроме одарённых.

— Одарённые?

Тихон посмотрел на меня через папиросу.

— У нас в роте их нет, — сказал он. — Одарённых берегут. Они в ударных частях, при штабе, у них клеймо и куратор. Кровных — тех вообще по пальцам пересчитать.

— А почему?

— Потому что дорогие, — сказал Тихон. — Обычного солдата убьют — нового пришлют. А одарённого попробуй вырасти. Да и боятся их. Ты бы сам испугался человека, который на тебя посмотрит и скажет: «У тебя ноги отнялись».

Я сидел и смотрел на огонёк его папиросы.

— А если у нас в роте появится такой? — спросил я.

— Появится — заберут, — сказал Тихон. — В ударную часть. Или в Приказ, если особо редкий. У них на таких своя охота.

Он стряхнул пепел.

— Ты почему спрашиваешь?

— Да так, — сказал я.

Тихон усмехнулся.

— Да так, — сказал он. — Ну-ну.

Я помолчал, а потом всё-таки сказал то, что вертелось у меня в голове с обеда.

— Слушай, — сказал я. — Батарея у них за оврагом стоит. Я по звуку понимаю, куда она бьёт, и ночью слышал. Если мы утром пойдём прямо через поле, они нас на подъёме положат всех. Надо обойти по левому краю, там воронки и кустарник, можно подойти ближе.

Тихон докурил, погасил папиросу о подошву и положил окурок в карман.

— Ты это командиру скажи, — сказал он.

— Тебе говорю.

— Мне-то зачем? — Он посмотрел на меня без насмешки, спокойно. — Слушай сюда, Вельский. Ты полдня не мог затвор поставить. Кто тебя послушает? Меня? Я двадцать лет в строю, и то меня слушают только тогда, когда я кричу.

— Я не о себе, — сказал я. — Я о людях.

— И я о людях, — сказал Тихон. — Приказ есть приказ. Мы пойдём прямо через поле, потому что так написано, и потому что господам в штабе виднее, у них карта. А ты пойдёшь вместе со всеми и будешь делать то, что я скажу, потому что у меня опыта больше, чем у тебя книжек.

Я замолчал.

— Не обижайся, — сказал Тихон. — Мне за тебя завтра, может, умереть придётся. Ты, главное, вперёд не беги. Вперёд бежит тот, кто боится. Иди ровно, шаг в шаг, и, может, пронесёт.

Он лёг на настил, подложив под голову вещмешок.

— Спи, — сказал он. — Завтра рано вставать.

Я не спал. Лежал на настиле и слушал, как дышит окоп.

Он дышал неровно. Кто-то храпел, кто-то ворочался, кто-то, невидимый в темноте, шептал слова, из которых я разбирал только «спаси» и «сохрани». Потом кто-то заплакал — тихо, сдавленно, как плачут мужчины, когда думают, что их не слышат. Плач был короткий. Человек всхлипнул ещё пару раз и затих, и в тишине стало слышно, как он дышит носом.

Я лежал и считал, сколько осталось до утра. Часа четыре, может, пять. Пять часов, и потом будет то, чего я не видел ни разу в жизни, кроме как на экране и в книжках с картинками.

— Не спится, — сказал Тихон.

Он не спрашивал. Он лежал рядом, на спине, с открытыми глазами, и смотрел в накат.

— Не спится, — сказал я.

— Это ничего, — сказал он. — Перед первым разом всем не спится.

Я полежал и спросил:

— А тебе страшно?

Тихон помолчал, проверяя, стоит ли отвечать.

— Страшно, — сказал он. — Кто тебе скажет, что не страшно, тот или врёт, или дурак, или уже мёртвый.

— А как ты с этим?

— Никак. Оно само. — Он повернул голову. — Страх, он как холод. Пока бегаешь, его не чувствуешь. Как встал — накрывает. Вот и не стой.

— А если я не смогу?

— Сможешь, — сказал Тихон. — Все могут, пока живы. Ты, главное, не думай о том, что будет потом. Думай на шаг вперёд. Встать. Пойти. Лечь. Встать. Пойти. Лечь. Как в работе.

— Как в работе, — повторил я.

— Ага. — Он вздохнул. — Я вот после войны поеду к дочке. У неё крыльцо скрипит, я обещал поправить. Вот и буду думать, как доски класть.

— А она где?

— Далеко, — сказал Тихон. — За лесами, за полями. Доеду — увидишь.

— Тихон, — сказал я.

— Чего?

— Спасибо.

— За что? — Он посмотрел на меня. — За винтовку?

— За винтовку тоже.

— Дурак ты, Вельский, — сказал он без злости. — Спи.

Я повернулся на бок и достал патроны.

В темноте я пересчитал их на ощупь, выложил рядком на шинель и снова собрал в пачку. Потом проверил штык: он сидел плотно, но я всё равно подтянул его и подёргал. Потом потрогал затвор.

Всё было на месте. Я лежал и думал о том, что завтра будет поле, овраг и лес, что рота пойдёт куда-то, где я не был, и что я не знаю ни расположения взводов, ни того, где наш обоз, ни того, кто мной командует, кроме сержанта.

В книгах всегда была карта. В книгах ты видел сверху, где стоят свои, где чужие, где батарея, и мог прикинуть, что будет, если пойти левее. Здесь карты не было. Был окоп, темнота и десять патронов.

Я попробовал представить себе завтрашнее утро, и у меня ничего не вышло. Вместо утра в голове вставала мать на перроне: четыре часа, первый путь, термос, пирожки с капустой. Она стоит и смотрит на поезд, и поезд приходит без меня.

Над бруствером прошли шаги и остановились. Я узнал голос капрала.

— Господин сержант, — сказал капрал тихо, — а правда, что нас первыми?

— Правда, — сказал сержант.

— А чего мы? Первый батальон же свежий.

— Первый батальон в резерве. Приказ.

Помолчали.

— Господин сержант, — сказал капрал ещё тише, — а до обеда дотянем?

— Не каркай, — сказал сержант. — Иди, проверь, чтобы все спали.

Шаги пошли дальше вдоль окопа.

Я лежал и смотрел в небо, на этот раз уже знакомое, чужое, с четырьмя звёздами, которые я вчера принял за Ковш.

Я знал о войне всё, что можно было узнать из книг. Я знал, как рыть окоп в полный профиль, как переносить огонь, как обходить батарею. И я лежал в окопе, в чужом теле, среди людей, которые в этих книгах не читали, и из всех, кто был рядом, мне не верил ни один.

Где-то далеко, за лесом, коротко ударила пушка, потом вторая.

— Начинается, — сказал Тихон, не открывая глаз. — Это они пристреливаются.

Я лежал и слушал.

Утро

— Встаём. — Сапог ткнул меня в бок. — Через полчаса начинаем.

Я сел. В окопе было темно и холодно, и все уже двигались: кто-то натягивал сапоги, кто-то мочился в сторону, кто-то проверял затвор. Над бруствером стоял туман, густой, как молоко, и в нём ничего не было видно дальше трёх шагов.

Я проверил патроны. Вчера вечером я пересчитал их и разложил, а сейчас пересчитал снова: девять в пачке и один в стволе. Я потрогал штык, подтянул его и попробовал, как он сидит. Он сидел плотно.

Тихон сидел рядом на настиле и жевал хлеб. Он жевал медленно, с толком, как человек, у которого впереди целый день.

— Ешь, — сказал он. — Потом не захочется.

Я взял хлеб и попробовал жевать, но хлеб встал поперёк горла.

— Не лезет.

— Ничего, — сказал Тихон. — Воды выпей.

Я выпил воды из фляжки. Вода была тёплая и отдавала железом.

Сержант прошёл вдоль окопа и остановился у нас.

— Готовы?

— Готовы, господин сержант, — сказал Тихон.

— Через полчаса начнёт работать артиллерия, — сказал сержант. — Работает двадцать минут. Как кончит — свисток. По свистку встаём и идём. Дистанция пять шагов. Вперёд не бежать, назад не смотреть. Кто побежит назад — застрелю сам, не дожидаясь трибунала.

Никто не засмеялся.

— Вопросы?

Вопросов не было.

Сержант пошёл дальше, а я сидел и смотрел на свой хлеб.

— Он правда застрелит? — спросил я тихо.

— Правда, — сказал Тихон. — А ты думал?

Я не думал. Я вообще старался не думать, потому что всё, что я знал о войне, было из книг, а в книгах не было этого: как воняет окоп по утрам, как стучат зубы у соседа, как хочется в туалет, когда страшно.

Заяц сидел напротив меня, прижавшись спиной к стене, и вертел в руках бумажку. Бумажка была маленькая, сложенная вчетверо, и он то разворачивал её, то складывал обратно.

— Что это? — спросил я.

Он посмотрел на меня и быстро спрятал бумажку за пазуху.

— Ничего.

— Письмо?

— Ничего, — повторил он.

Тихон, сидевший рядом, сказал негромко:

— У всех есть. У кого письмо, у кого карточка, у кого просто тряпка. Ты не лезь.

— Я не лезу.

— И правильно.

Заяц ещё немного посидел, потом достал бумажку и быстро, не глядя на нас, поцеловал её и спрятал.

— Это от матери, — сказал он вдруг. — Она писала, когда меня в часть провожали. Там всего две строчки, а я их наизусть знаю.

— А мать у тебя где? — спросил я.

Он посмотрел на меня удивлённо.

— Дома, — сказал он. — А у тебя нет?

— Есть, — сказал я.

Я подумал о своей матери. Она сейчас не стояла на перроне: вторник уже прошёл, а она так и не знала, что сын её не приедет. Она, наверное, спала. Или вставала на работу. Или ставила чайник.

— А чего ты тогда спрашиваешь? — сказал Заяц.

— Да так.

Заяц посмотрел на меня ещё раз и отвернулся.

— У всех есть, — сказал Тихон. — У тебя тоже.

— У меня нет, — сказал я.

Тихон посмотрел на меня.

— Ну и дурак, — сказал он спокойно.

Он встал, провернул винтовку и пошёл к сержанту.

Кто-то рядом крестился и шептал. Кто-то прилаживал штык. Кто-то проверял, туго ли набиты патроны в пачке.

Я проверил патроны ещё раз.

Над нами ударило.

Сначала далеко, за лесом, глухо, как от закрытой двери. Потом ещё раз, ближе. Потом ударило так, что с наката посыпалась земля, и я вжался в стену и понял, что это уже не дверь.

— Наша, — сказал Тихон. — Это наша.

Он сказал это спокойно, но я видел, как у него ходят желваки.

Земля тряслась. Я слышал, как где-то впереди рвутся снаряды, как их вой идёт по небу и обрывается, и потом приходит звук, тяжёлый, как удар в грудь. Кто-то рядом молился, быстро и шёпотом. Кто-то ругался.

— Двадцать минут, — сказал Тихон. — Ты не считай. Не считай, и всё.

Я стал считать.

Первые минуты тянулись долго. Потом я сбился и начал заново, и сбился опять, и тогда перестал считать и стал смотреть на Тихона. Тихон сидел, привалившись спиной к стене, закрыв глаза, и его лицо было спокойное, как у человека, который слушает дождь.

Потом удары стали реже, потом ещё реже, и наступила тишина.

Она была хуже, чем грохот.

— Сейчас, — сказал Тихон и открыл глаза.

Свисток прорезал тишину.

— Встали! — заорал сержант. — Пошли, пошли!

Я поднялся. Ноги были как чужие. Я взял винтовку, поставил её на бруствер, подтянулся и полез через мешки.

За бруствером был туман и мокрая трава, и я встал в эту траву и увидел, как из окопа вылезают другие: сначала один, потом второй, потом сразу много, и все идут вперёд, в туман.

— Дистанция! — крикнул сержант. — Пять шагов! Не сбиваться!

Я пошёл.

Первые шаги были самые трудные. Ноги шли, а внутри всё кричало, что надо лечь, что надо вернуться, что там, в окопе, было хоть какое-то дно и стены. Я шёл и смотрел под ноги, потому что в тумане не было видно, куда идти, и через десять шагов я наступил на что-то мягкое и понял, что это человек.

Он лежал лицом вниз, в серой шинели, и был мокрый от росы. Я перешагнул через него и пошёл дальше.

— Не смотри! — сказал Тихон сбоку. — Под ноги смотри!

Я смотрел под ноги.

Туман стал редеть. Впереди, шагах в тридцати, я увидел край поля и овраг, и за оврагом — серую полосу, которую я сначала принял за забор. Это была батарея.

И тогда я понял, что мы идём прямо на неё.

— Батарея! — закричал я. — За оврагом батарея! Надо левее, там кустарник!

Тихон обернулся.

— Молчи, — сказал он. — Иди.

— Они нас на подъёме положат!

— Иди, — повторил Тихон. — Не останавливайся.

Сержант шёл впереди и не оборачивался. Он шёл ровно, широко, как будто впереди был плац, и его свисток висел у него на груди.

Поле было мокрое и вязкое. Сапоги вязли, я выдирал их из грязи и снова ставил, и с каждым шагом туман становился реже, а батарея — ближе.

Потом за оврагом ударило.

Я не услышал выстрела. Я услышал только, как что-то идёт по воздуху, и как сержант кричит: «Ложись!», и как все вокруг падают в грязь. Я тоже упал, лицом в мокрую траву, и земля ударила меня в грудь.

Разрыв был где-то позади. Я услышал, как осколки прошли над нами, и как кто-то закричал.

— Встали! — заорал сержант. — Встали, вперёд!

Я поднялся. Впереди, шагах в двадцати, лежал Пилипенко. Он был на спине, раскинув руки, и его винтовка валялась рядом.

— Пилипенко! — крикнул я.

Он не отозвался.

— Вперёд! — кричал сержант. — Не останавливаться!

Я пошёл. Потом побежал, потому что все побежали, и потому что стоять было страшнее, чем бежать.

Второй разрыв был ближе. Я успел упасть, и меня накрыло землёй, и в ушах зазвенело так, что я перестал слышать. Я поднял голову: рядом лежал Дьяков, и половины его головы не было.

Я закричал. Я не слышал своего голоса.

— Встали! — кричал сержант. — Встали, вперёд!

Он стоял впереди, широко расставив ноги, и махал рукой, и его свисток блестел на груди. Я видел, как он повернулся к нам, и как его рот открывается, и как он что-то кричит, и потом я увидел, как из его спины вылетает что-то серое, и он сел, будто споткнулся.

— Господин сержант! — заорал кто-то.

Сержант сидел в грязи и смотрел на свои руки. Потом он лёг на бок и больше не двигался.

— Заяц! — крикнул Тихон. — Заяц, ко мне!

Заяц бежал справа. Я видел, как он обернулся на крик, и в это время его ударило в плечо, и он крутанулся и упал лицом вниз.

Их осталось пятеро или шестеро. Я не считал. Я стоял на коленях в грязи с винтовкой в руках, и впереди, шагах в сорока, из тумана выходили серые фигуры.

Я поднял винтовку.

В учебке я стрелял из автомата по мишеням и попадал. Здесь была другая винтовка, тяжёлая, с длинным стволом, и я вставил в неё патрон ещё ночью, и патрон всё ещё был там.

Я прицелился в ближайшую фигуру и выстрелил.

Приклад ударил меня в плечо. Я не увидел, попал или нет, потому что дым и туман смешались, и потому что руки у меня тряслись. Я открыл затвор, выбросил гильзу, достал из пачки новый патрон, вставил, дослал, и всё это заняло у меня, наверное, полминуты, а может, и больше.

За это время фигуры приблизились.

— В воронку! — крикнул Тихон. — Вон, левее! Ползком!

Я увидел воронку. Она была шагах в десяти, и в ней стояла вода.

Я пополз.

Грязь была холодная и вязкая, и в неё надо было вжиматься так, чтобы не осталось над землёй ни локтя, ни колена. Над головой прошла очередь, и я вжался лицом в траву и почувствовал, как дёргается спина.

Воронка была ближе, чем казалось. Я добрался до края и скатился вниз, в воду, и вода оказалась ледяной.

В воронке было двое. Один лежал на спине, без шинели, в грязной рубахе, и его живот был мокрый и красный. Второй сидел рядом на корточках и держал его за руку. Это был рыжий.

— Вельский, — сказал он. — Вельский, ты целый?

Я кивнул. Слух возвращался, и мир снова наполнился звуками: стрельбой, криками, свистом.

— Ему плохо, — сказал рыжий. — Ему совсем плохо.

Я подполз. Раненый был ещё один солдат из их отделения — кажется, Бондарь. Он смотрел в небо и часто дышал, а на губах у него пузырилась кровь.

— Перевязать надо, — сказал я.

— Нечем, — сказал рыжий. — У меня всё вышло.

Я сорвал с себя ремень, потом вспомнил про шинель, стал рвать подкладку. Руки не слушались. Я наконец оторвал полосу, и мы вместе прижали её к животу Бондаря, и я почувствовал, как под ладонями у него всё ходит и горячее.

— Держи, — сказал я. — Держи крепче.

Бондарь посмотрел на меня. Глаза у него были как у рыбы.

— Пить, — сказал он.

— Нельзя, — сказал я. — Нельзя пить.

— Пить, — сказал он тише.

Я вытащил фляжку и отвинтил крышку.

— Не давай, — сказал рыжий. — Нельзя ему.

— Губы смочу.

Я намочил пальцы и провёл Бондарю по губам. Он облизал их и закрыл глаза.

— Хорошо, — сказал он.

— Хорошо, — сказал я. — Лежи.

Он открыл глаза и посмотрел на меня.

— Мам, — сказал он. — Мам, я тут.

Я не смог ничего сказать.

— Это он не тебе, — сказал рыжий тихо. — Это он вообще.

— Я понял.

— Он из деревни, — сказал рыжий. — У него мать и две сестры. Он говорил, у них сад и яблоки. Он всё время про яблоки говорил.

Он помолчал.

— Два года в роте, — сказал он. — Два года. Я его с самого начала знаю.

Я смотрел на Бондаря и думал, что я знаю о нём только фамилию из списка и то, что он говорил про яблоки. Два года рядом с этими людьми, и я не знал ни его матери, ни сестёр, ни деревни. Я не знал даже, как его зовут по имени.

— Как его? — спросил я. — По имени?

Рыжий посмотрел на меня.

— Степан, — сказал он.

Бондарь дышал всё реже.

— Степан, — сказал я. — Степан, держись.

Он не отозвался. Дышал он теперь с трудом, и каждый выдох был длиннее вдоха.

— Скажи ему что-нибудь, — сказал рыжий. — Он слышит.

— Что сказать?

— Не знаю. Скажи, что всё будет хорошо.

— Это неправда.

— Скажи.

Я наклонился к Бондарю.

— Степан, — сказал я. — Всё будет хорошо. Мы тебя вытащим.

Бондарь чуть повернул голову. Мне показалось, что он хотел улыбнуться, но вышло только, что у него дрогнули губы.

Он умер через минуту.

— Сейчас, — сказал я. — Сейчас кто-нибудь придёт.

Я сказал это и сам услышал, как это прозвучало.

Рыжий подождал, потом наклонился и закрыл ему глаза ладонью.

— Всё, — сказал он.

— За нами придут? — спросил я.

— Кто?

— Санитары. Свои.

Рыжий посмотрел на меня, как на ребёнка.

— Ты воронку видел? — спросил он. — Ты поле видел? Тут за живыми-то не ходят, а за мёртвыми и подавно.

— А раненые?

— Раненые сами ползут, если могут.

Я оглянулся. За краем воронки был туман, и в тумане кто-то бежал и падал, и где-то далеко, за оврагом, опять ударила батарея.

— А если не могут?

— Тогда лежат, — сказал рыжий. — И ждут.

— Чего?

— Ничего. — Он вытер лицо ладонью, и на щеке у него осталась грязь. — Просто лежат.

Мы помолчали. Вода в воронке доходила до щиколоток, и от неё тянуло холодом. Рыжий сидел, вытянув ногу, и я только сейчас увидел, что штанина у него ниже колена разодрана и в прорехе темнеет.

— Ты ранен?

— Царапнуло. — Он пожал плечами. — Осколком. Не больно, только мокрая.

Я подполз ближе и посмотрел. Рана была неглубокая, но длинная, от колена почти до щиколотки, и кровь шла из неё ровно и уже натекла в сапог.

— Надо перевязать.

— Уже.

— Плохо перевязал.

Я оторвал от подкладки ещё полосу и перетянул ему ногу выше раны, как учили на первой неделе. Рыжий смотрел на меня и молчал.

— Туго? — спросил я.

— Нормально.

— Если онемеет, скажи.

— Скажу.

Я затянул узел.

— Ты чего вообще? — спросил рыжий. — Ты какой-то...

— Какой?

— Не такой.

Я посмотрел на него.

— Контузия, — сказал я.

— Ага. — Он усмехнулся. — Контузия.

Он помолчал, потом сказал:

— Слушай. До темноты нам отсюда не выйти. Днём они всё поле видят.

— А ночью?

— Ночью, может, и выйдем. — Он посмотрел на небо. — Если до ночи доживём.

Я посмотрел на небо. Оно было серое, ровное, без солнца, и по нему ничего нельзя было понять: ни сколько времени, ни скоро ли стемнеет.

— Сколько сейчас?

— Часов десять, может, одиннадцать.

Значит, до темноты было ещё очень долго.

— Тихон бы знал, что делать, — сказал я.

— Тихон бы уже полз, — сказал рыжий. — Он такой.

— А мы?

— А мы подождём. — Он откинулся на стенку воронки. — У нас вода есть, патроны есть. Переждём, пока они вперёд уйдут.

— А если не уйдут?

— Тогда и подумаем.

Я сел в воду рядом с ним.

Бой уходил вправо. Сначала стреляли близко, потом дальше, потом ещё дальше, и постепенно стало слышно, как стреляют в соседней комнате за стеной. Я слышал, как где-то командуют, как кто-то кричит «вперёд», и как крик обрывается.

— Наши пошли, — сказал рыжий. — Вон, слышишь? Вправо забирают.

— Это хорошо?

— Это как посмотреть. — Он подтянул к себе винтовку. — Если они взяли их окоп, то мы им больше не нужны. А если не взяли, то к вечеру они вернутся.

— И что тогда?

— Тогда мы им встретимся. — Он похлопал по винтовке. — У меня три патрона.

— У меня восемь и один в стволе.

— Богатый.

Я посмотрел на свои руки. Кровь уже подсохла и стянула кожу, и на ладонях остались бурые полосы.

— Ты откуда? — спросил рыжий.

— Из Никольского.

— Я не про имение. Ты какой-то не такой. Говоришь не так, смотришь не так. — Он помолчал. — Ты будто не отсюда.

Я не знал, что сказать.

— Контузия, — сказал я.

— Ты это уже говорил.

— А что мне ещё сказать?

Рыжий посмотрел на меня и вдруг засмеялся. Смех у него был короткий и сиплый, и он сразу закашлялся.

— Ничего, — сказал он. — Говори что хочешь. Тут все врут.

— Все?

— Все, — сказал он. — Кто про дом врёт, кто про то, что не боится. Ты вот про контузию. А толку?

Он замолчал и стал смотреть за край воронки.

Я тоже посмотрел. Поле было пустое, серое, изрытое, и в нём лежали люди. Некоторые шевелились.

— Слушай, — сказал рыжий. — Ты когда из окопа вылез, ты чего кричал?

— Про батарею.

— Про какую батарею?

— За оврагом. — Я показал рукой. — Она там стоит, я по звуку слышал. Если бы мы левее взяли, через кустарник, мы бы подошли ближе, и они бы нас не так достали.

Рыжий посмотрел туда, куда я показывал.

— Может, и так, — сказал он. — Только нас никто не спросил.

— А если спросят?

— Тогда и скажешь. — Он снова посмотрел на меня. — Только знаешь что? Тебя всё равно не послушают.

— Почему?

— Потому что ты Вельский, — сказал он. — Ты вчера в строй не встал.

Я сидел в воде рядом с ним и смотрел на свои руки.

— Ты его держал, — сказал рыжий. — Ты молодец.

— Я его не спас.

— Всё равно. — Рыжий вытер руки о штаны. — Ты держал. Это больше, чем некоторые.

Я не знал, что на это сказать.

— Как его звали? — спросил я.

— Бондарь.

— Я знал.

— Знал, — согласился рыжий. — А имени не знал.

Он был прав. Я знал фамилию из списка, который выкликал капрал, и больше ничего: ни откуда он, ни сколько ему лет, ни есть ли у него мать.

Где-то совсем близко ударил пулемёт. Очередь прошла над воронкой, и мы оба пригнулись, и я почувствовал, как земля над нами дёргается.

— Из пулемёта, — сказал рыжий. — У них пулемёт. У нас нет, а у них есть.

Он сказал это спокойно, как говорят о погоде.

— Надо уходить, — сказал я.

— Куда?

— К своим. К окопу.

Рыжий посмотрел на меня.

— Вельский, — сказал он. — Окоп вон где. А между нами поле и батарея. И мы в воронке. Ты думаешь, до окопа кто-нибудь добежит?

Я посмотрел за край воронки. Туман почти рассеялся, и стало видно поле: серое, мокрое, изрытое. Кто-то бежал в сторону окопа, кто-то лежал и не двигался, кто-то полз. Далеко справа, у кустарника, сбилась кучка людей, и оттуда махали руками.

— Вон, — сказал я. — Справа. Наши.

Рыжий посмотрел.

— Может, наши, — сказал он. — А может, и нет.

Он вытащил из-за пазухи карточку, взглянул на неё и снова спрятал.

— Ты вперёд не беги, — сказал он. — Тихон говорил, не беги.

— Тихон? — Я обернулся. — Где Тихон?

Рыжий молчал.

— Где Тихон? — спросил я ещё раз.

— Он впереди был, — сказал рыжий. — Я не видел.

— Он живой, — сказал я.

— Может, и живой.

Я поднялся на колени и посмотрел за край воронки.

И в этот момент на краю появился человек. Чужой, в серой шинели, но не в такой, как у нас: с другими погонами, с другой выправкой. Он посмотрел вниз, в воронку, и его глаза нашли меня.

Он поднял винтовку.

Кровь на руках

Я не успел ничего сделать.

Человек на краю воронки стоял и смотрел на меня, и винтовка у него была поднята, и я видел, как он целится. Я видел всё сразу: его лицо, молодое, перемазанное грязью, рукав шинели, мокрый от крови, и то, как у него на шее бьётся жилка.

И я услышал.

Это не было звуком. В ушах у меня стоял гул, ровный, как в тамбуре поезда, и в этом гуле я слышал его кровь. Она шла по нему, толчками, туда и обратно, и я знал, где она идёт, и знал, что будет, если она остановится.

У меня во рту появился металлический привкус.

Человек шагнул вперёд, на самый край, и я увидел, как его палец ложится на спуск.

Я не думал. Я ничего не решал. Я просто сжал.

Я не знал, что сжимал. У меня не было ни рук, ни слов, ни мысли, была только его кровь, и я взял её и сжал, как берут за горло.

Человек на краю выронил винтовку.

Он не закричал. Он открыл рот, и его руки прижались к груди, и он согнулся пополам, будто ему ударило под дых. Пальцы у него скрючились, и разогнуться он не мог. Потом его ноги подкосились, и он упал в воронку, лицом в воду, совсем близко от меня.

Я смотрел на него и не мог пошевелиться.

— Вельский! — Рыжий подполз ко мне на четвереньках и схватил меня за плечо. — Ты целый? Он тебя зацепил?

— Нет, — сказал я.

Вельдтец лежал лицом в воде и хрипел. Потом он повернул голову и посмотрел на меня. Глаза у него были открытые и совсем не злые: он смотрел на меня так, будто не понимал, что случилось.

Я тоже не понимал.

— Он живой, — сказал я.

— Сейчас будет не живой. — Рыжий перехватил винтовку за ствол.

— Не надо.

Рыжий посмотрел на меня.

— Ты чего?

— Он не может двигаться.

— И что?

Я не знал, что сказать. Я знал только, что сейчас произойдёт что-то, чего я не хочу видеть, и что я не могу этому помешать.

Рыжий ударил его прикладом. Один раз, потом второй. Потом посмотрел и опустил винтовку.

— Всё, — сказал он.

В ушах гудело. Гул стал громче, потом в нём что-то лопнуло, и я почувствовал, как из меня уходит сила.

— Вельский! — крикнул рыжий. — Вельский, ты чего?

Я хотел сказать, что всё хорошо. Я хотел сказать, что не знаю, что случилось.

Я не сказал ничего.

Мир наклонился, и вода в воронке встала дыбом, и я упал.

Дальше я помню урывками.

Я помню, как меня тянули за воротник, и как воротник резал шею, и как я говорил: «Пусти, я сам».

— Сам он, — сказал рыжий. — Куда ты сам, тебя ноги не держат.

Он тащил меня через поле, и я видел его ногу в разодранной штанине, и на бинте проступало красное.

— У тебя кровь идёт, — сказал я.

— У тебя тоже.

Мы ползли. Потом шли. Потом я опять полз, и трава была мокрая, в ней лежали люди, и я смотрел на них и думал, что всех их надо запомнить, и никого не запоминал.

— Не спи, — говорил рыжий. — Вельский, не спи.

— Я не сплю.

— Ты спишь.

Я не помню, как мы дошли. Помню голоса, помню, как меня взяли под руки двое, и как один сказал: «Тяжёлый». Помню носилки, брезент и то, как всё качалось.

Потом я лежал на досках, и надо мной был брезент, и сквозь него светило жёлтое.

Потом меня стали трясти за плечо.

— Вельский. Вельский, ты живой?

— Живой, — сказал я. — Живой, — повторил кто-то. — Зрачки в норме.

Я попробовал сесть. Меня держали за плечи.

— Лежи, лежи. Куда собрался?

Я лежал на чём-то жёстком, на досках, и вокруг ходили люди в серых халатах, и кто-то стонал, и кто-то кричал.

— Где я? — спросил я. Голос был хриплый и чужой.

— В санбате, где ж ещё. — Надо мной наклонился человек в халате, с усталым лицом и щетиной. — Ты меня слышишь?

— Слышу.

— Как тебя зовут?

Я открыл рот и на секунду замер. Надо было вспомнить, что теперь меня зовут Вельский.

— Вельский, — сказал я. — Артём.

— Вельский, — повторил человек и посмотрел куда-то в сторону. — Это который из воронки? Которого рыжий притащил?

— Он, — сказал кто-то за спиной.

— Хорошо. — Человек снова посмотрел на меня. — Голова болит?

— Нет.

— А что болит?

Я прислушался к себе.

— Ничего.

— Ничего, — повторил он. — А почему ты без сознания был?

Я не знал, что ответить.

— Не помню, — сказал я.

— Не помнишь. — Он взял меня за запястье и стал считать пульс. — Контузия?

— Контузия.

— Все у вас контузия. — Он отпустил мою руку. — Кровь на тебе не твоя?

Я посмотрел на свои ладони. Они были вымазаны бурым, и под ногтями тоже было бурое.

— Не моя, — сказал я.

— Чья?

— Бондаря. — Я запнулся. — Степана. Он умер.

Человек в халате помолчал.

— Понятно, — сказал он. — Лежи. Пить хочешь?

— Хочу.

Он ушёл и вернулся с кружкой. Вода была холодная и отдавала железом, и я выпил всё до дна.

Потом я лежал и смотрел в брезент, и слушал, как вокруг работают и умирают люди, и думал о том, что я сделал.

Я не знал, что это было. Я не знал, как это называется. Я знал только, что человек на краю воронки упал не сам, и что это сделал я, и что внутри у меня после этого стало пусто, как в выеденном яйце.

Я лежал и ждал, когда кто-нибудь спросит, и боялся, что спросит.

Ко мне подошёл тот же человек в халате.

— Ну что, — сказал он. — Голова ясная?

— Ясная.

— Встать можешь?

Я сел. Голова не кружилась, только руки дрожали, и в ушах остался слабый звон.

— Молодец, — сказал он. — Сейчас тебе дадут чаю, и полежишь до утра. Утром посмотрим.

— А потом?

— А потом пойдёшь обратно. — Он усмехнулся. — Война, брат. Тут долго не лежат.

Он ушёл, а я остался сидеть на досках, с чашкой в руках, и смотреть на свои ладони.

Кровь на них уже подсохла, и её надо было отмыть. Я встал и пошёл к ведру с водой, и там, у ведра, увидел рыжего.

Он сидел на полу, привалившись к стене, с перевязанной ногой, и ел хлеб.

— Вельский, — сказал он и заулыбался. — Живой.

— Живой, — сказал я.

— Я тебя тащил, — сказал он. — Ты знаешь, сколько ты весишь?

Я сел рядом с ним на пол.

— Я ничего не помню, — сказал я. — Но думаю, вешу как и все остальные.

— И хорошо. — Он откусил хлеб. — Там такое было, что лучше не помнить. И ты очень тяжелый.

Я повернулся к нему.

— Расскажи, — сказал я. — Что было?

Рыжий прожевал и посмотрел на меня.

— Ты серьёзно не помнишь?

— Не помню.

— Ну. — Он отложил хлеб. — Ты в воронке сидел, я тебе про Тихона говорил. Потом на краю этот появился. Вельдтец. Он на тебя навёл, а ты сидел и смотрел на него, как баран.

— И?

— И он упал.

— Как упал?

— А вот так. — Рыжий пожал плечами. — Стоял, стоял, потом схватился за грудь и сложился. Как мешок. Я думал, его свои зацепили, обернулся — никого. А он лежит в воде и дышит.

— И что с ним?

— Что с ним. — Рыжий усмехнулся. — Я его того. Прикладом. Нечего ему было на тебя наводить.

Я посмотрел на свои руки.

— Ты уверен, что его никто не зацепил?

— Уверен. — Он помолчал. — А чего?

— Да так.

— Ты чего-то не того, Вельский.

— Мне показалось, что я его...

Я замолчал.

— Что? — спросил рыжий.

— Ничего. Показалось.

Рыжий посмотрел на меня внимательно, но допрашивать не стал. Он вообще был из тех, кто не допрашивает.

— Ладно, — сказал он. — Показалось и показалось.

Он снова взялся за хлеб, а я сидел рядом и смотрел на ведро с водой.

Я вспомнил, как Тихон сказал в окопе: «Ты бы сам испугался человека, который на тебя посмотрит и скажет: „У тебя ноги отнялись“». Он тогда говорил про одарённых. Про кровных, которых берегут, клеймят и держат при штабе.

А потом я вспомнил, как у меня во рту стало металлически, и как я сжал.

Я не знал, что это было. Но я знал, что это было со мной, и что это я сделал с человеком, который стоял на краю воронки.

— Слушай, — сказал я. — А если солдат упал, а раны у него нет. Так бывает?

Рыжий перестал жевать.

— Бывает, — сказал он. — Когда рядом кровный.

Он сказал это просто, как говорят о дожде.

— И что тогда?

— А ничего. — Рыжий пожал плечами. — Тогда ищут, кто рядом был.

— Ищут?

— Ну а ты как думал? — Он посмотрел на меня. — Кровный — это тебе не фельдшер. Это такая штука, за которую... — Он не договорил. — Тебе зачем?

— Да так. — Я заставил себя пожать плечами. — Контузия.

Рыжий засмеялся, но как-то коротко.

— Ты это слово скоро до дыр протрёшь, — сказал он.

— А что мне говорить?

— Ничего не говори. — Он откусил хлеб. — Меньше скажешь — дольше проживёшь.

Я встал.

— Ты куда?

— Тихона поищу.

Рыжий посмотрел на меня, но не сказал ничего.

Фельдшер сидел у свечи и что-то писал в тетради. Перед ним лежал список, длинный, в клетку, и половина фамилий в нём была зачёркнута.

— Тихон, — сказал я. — Мне бы Тихона найти. Из третьей роты.

— Из какой?

— Из третьей. Он со мной в отделении был.

Фельдшер вздохнул и взял список.

— Тихон... Тихон... — Он вёл пальцем по строчкам. — Нету.

— Как нету?

— Так. Нету его тут.

— Может, он не ранен, — сказал я.

— Может, и не ранен, — согласился фельдшер, не поднимая глаз. — В списках раненых его нет. В списках убитых я его тоже не видел. Спроси утром у писаря.

— А где писарь?

— Утром будет.

Я стоял и смотрел на список.

— Ты иди, — сказал фельдшер. — Дай работать.

Я вернулся к рыжему и сел на пол.

— Нету его, — сказал я.

— В списке?

— В списке. И в убитых тоже нету.

Рыжий помолчал.

— Это ничего не значит, — сказал он. — Тут половину не записали. Вон, я сам в списке дважды.

— Дважды?

— Дважды. — Он усмехнулся. — Один раз живой, один раз мёртвый. Писари, они такие.

Я не засмеялся.

— Он живой, — сказал я.

— Живой, — согласился рыжий. — Я тебе то же говорю.

Мимо прошёл санитар с ведром, и я подвинул ноги. В санбате было тесно: раненые лежали на досках, на полу, на шинелях, и кто-то всё время стонал, и кто-то всё время просил пить.

Я сидел и думал.

Значит, это была кровь. Не в книгах, не в чужих рассказах, а во мне: я почувствовал её в чужом человеке и сжал, и он упал.

И значит, я теперь такой же, как те, про которых говорил Тихон. Которых клеймят. Которых забирают в ударные части. За которыми приходит Приказ.

Я думал о том, что мне делать. В книгах герой в такой момент шёл к командиру и всё рассказывал. В книгах это всегда кончалось хорошо.

Здесь, я знал, это кончится тем, что меня запишут в бумагу. И отправят умирать уж точно.

— Эй, — сказал рыжий.

Я обернулся.

— Ты чего сидишь как неживой?

— Устал, — сказал я.

— Устал он. — Рыжий покачал головой. — Ты в воду не смотри, ты чай пей. Мне вон уже дали.

Он протянул мне кружку. Чай был горячий, сладкий и пах дымом.

— Спасибо.

— Не за что. — Он помолчал. — Ты это, Вельский. Если что...

— Что?

— Ничего. — Он отвернулся. — Пей.

Я выпил чай и поставил кружку на пол.

Через несколько минут в санбат вошёл человек в чистой шинели, без оружия, и с ним ещё один, в штатском, с папкой под мышкой. Они прошли вдоль раненых и остановились у фельдшера.

Я слышал, как человек в штатском спросил:

— Который был в воронке с Бондарем?

Фельдшер посмотрел в свою бумажку и сказал что-то тихо.

Человек в штатском обернулся и посмотрел в нашу сторону.

Я опустил глаза на свои руки.

— Вельский, — сказал рыжий очень тихо. — Ты чего побледнел?

— Ничего, — сказал я. — Пить хочется.

Он не поверил.

Я видел, что не поверил.

Человек в штатском подошёл через минуту. Он был немолодой, сухой, с гладко выбритым лицом, и папку он держал так, будто она была тяжелее, чем выглядела.

— Вельский? — спросил он.

— Так точно.

— Артём Ильич?

— Так точно.

Он посмотрел на меня и чуть склонил голову набок.

— Ты был в воронке с Бондарем?

— Был.

— Бондарь умер?

— Умер.

— А вельдтец?

Я помолчал.

— Какой вельдтец?

— Тот, что упал в воронку, — сказал человек в штатском. — Ты видел, как он упал?

Я чувствовал, как у меня колотится сердце, и надеялся, что он этого не слышит.

— Не помню, — сказал я. — Меня контузило.

— Контузило. — Он повторил это слово без выражения. — Тебя контузило, ты потерял сознание, а вельдтец в это время упал.

— Так точно.

— И как он упал?

— Не помню.

— Совсем?

— Совсем.

Человек в штатском смотрел на меня долго. Я смотрел на его папку.

— А что ты помнишь?

— Бондаря, — сказал я. — Что он умер. И что меня тащили.

— Кто тащил?

— Рядовой. Рыжий. Фамилии не знаю.

Человек в штатском повернулся и посмотрел на рыжего, и рыжий сразу сказал:

— Тащил, ваше благородие. На себе. Он без памяти был.

— Без памяти, — сказал человек в штатском.

— Так точно.

Он ещё немного постоял, потом открыл папку, что-то в ней записал и закрыл.

— Лежите, — сказал он. — Утром вас всех перепишут.

Он пошёл к выходу, а человек в чистой шинели пошёл за ним.

— Что это было? — спросил рыжий, когда они вышли.

— Не знаю, — сказал я.

— Это из штаба, — сказал рыжий. — Или из Приказа.

— Из Приказа? — Я посмотрел на него.

— А ты думал, они за просто так ходят? — Рыжий поёжился. — Как кто-то упал без раны, так они и приходят.

Он сказал это и посмотрел на меня.

— Ты точно ничего не помнишь?

— Точно.

— Ну и хорошо, — сказал рыжий. — И дальше не помни.

Ночью я не спал.

Санбат спал и стонал. Брезент над головой провис от дождя, свеча горела у фельдшера, и по всей палатке пахло кровью и мокрой шинелью.

Я лежал на досках и смотрел в потолок.

Я думал о том, что было в воронке. Я прокручивал это в голове снова и снова: вот человек на краю, вот винтовка, вот его шея, вот жилка, вот металлический привкус.

Я вспоминал, как сжал. Не руками, не словами. Чем-то другим, что было во мне и чего я раньше не знал.

И я вспоминал, как после этого из меня всё ушло.

Я лежал и слушал. Рядом со мной на полу спал раненый, молодой, с перевязанной рукой, и во сне он дышал тяжело, с присвистом.

И я почувствовал его кровь.

Это было слабо, как далёкий шум, и не так ясно, как в воронке. Но она была там: шла по нему, толчками, туда и обратно. Я лежал и слышал её и не мог перестать слышать.

Я отвернулся и закрыл глаза.

Она не исчезла.

Тогда я сел.

Рядом кто-то заворочался, и я замер. Потом встал и пошёл к ведру с водой, и там долго мыл руки. Кровь сходила плохо, она въелась под ногти, и я тёр их песком, пока не стало больно.

Фельдшер у свечи поднял голову.

— Ты чего не спишь?

— Пить хотел.

— Ну попей и ложись.

Я вернулся на доски и лёг.

Кровь рядом не затихала. Я лежал и слышал её всю ночь: у одного она шла ровно, у другого с перебоями, у третьего была совсем тихая, и я боялся, что она остановится.

Тот, молодой, с перевязанной рукой, лежал рядом. Ночью он стал дышать громче.

Я лежал и слушал его кровь. Сначала она шла ровно, потом в ней появился пропуск, потом ещё один, и промежутки становились длиннее.

Я лежал и думал, что мне кажется.

Пропуски стали чаще.

Я сел.

— Эй, — сказал я тихо. — Эй, ты.

Он не отозвался. Он дышал, и с каждым выдохом в нём что-то присвистывало.

Я встал и пошёл к фельдшеру. У свечи было светло, и фельдшер спал, положив голову на тетрадь.

— Проснитесь, — сказал я. — Там человеку плохо.

Фельдшер поднял голову.

— Которому?

— Молодой. С рукой. Он лежит у стены.

Фельдшер встал, взял лампу и пошёл за мной. Он присел над парнем, потрогал ему шею, потом оттянул веко.

— Да он уже, — сказал он.

— Как уже?

— Так. Помер.

Фельдшер поставил лампу на пол и вытер руки о халат.

— Ты чего не спишь? — спросил он.

— Я услышал.

— Что услышал?

Я открыл рот и закрыл.

— Дышал плохо, — сказал я. — Я и подумал.

Фельдшер посмотрел на меня.

— Ну, — сказал он. — Подумал он. Все тут дышат плохо.

Он поднял лампу и пошёл назад к свече.

Я стоял над парнем и смотрел на его лицо. Он был совсем молодой. У него на подбородке росла редкая борода, и одна рука была перевязана, а вторая лежала поверх одеяла, и пальцы у неё были растопырены.

Я мог сказать. Мог сказать фельдшеру: я слышу, как у людей идёт кровь, и у него она останавливалась, и если бы я сказал раньше, может, его бы успели.

Я не сказал.

Я вернулся на свои доски и лёг.

Во мне есть кровь. Такая же, как у тех, кого клеймят и забирают в ударные части.

И об этом нельзя говорить. Ни фельдшеру, никому.

За брезентом посерело. За палаткой заговорили, и я услышал голос человека в штатском:

— Перепись с утра. Кто был в воронке — первыми.

Я закрыл глаза и стал дышать ровно, как спящий.

Отход

Утром нас переписывали.

Писарь сидел на перевёрнутом ящике, положив на колени папку, и выкликал по списку. У него были красные от недосыпа глаза и голос, которым читают надгробные речи.

— Вельский.

— Я.

— Артём Ильич? Четвёртый полк, третья рота?

— Так точно.

— Годен?

Отвечать я не стал. За меня ответил фельдшер, который мыл руки у ведра:

— Годен. Он вчера на ногах был.

Писарь что-то записал.

— К обеду чтоб в расположении был.

Я вышел из палатки.

Дождь перестал идти, но земля была мокрая, и над ней стоял туман, низкий, как дым. Санбат был в овраге, и от него вверх шла дорога, разъезженная колёсами и копытами.

Человек в штатском стоял у края дороги, без папки, в шинели без знаков, и смотрел, как раненые выходят из палаток и строятся.

Я прошёл мимо него, глядя прямо перед собой. Он не окликнул меня и не пошёл за мной. Он просто смотрел.

По дороге я обгонял повозки. На них лежали люди, и некоторые были накрыты с головой. Возчики не смотрели ни на них, ни на меня. Один курил, держа папиросу в зубах, и дым уходил назад, в туман.

Поле начиналось сразу за оврагом. Вчера я бежал по нему и не видел почти ничего. Сегодня было видно всё: воронки, полные воды, обломки забора, шинели, лежащие там, где их оставили.

Я шёл по краю поля и старался смотреть на дорогу.

В полку меня встретили без радости. Писарь в канцелярии посмотрел на мою бумагу, потом на меня, потом опять на бумагу.

— Третья рота, — сказал он. — Третьей роты вот столько осталось.

Он показал ладонью, сколько именно, и мне показалось, что это мало.

— Где они?

— За складом. Там, где кухня была.

За складом, на утоптанной земле, сидели люди. Их было человек пятнадцать, может, больше. Кто-то спал, кто-то чистил винтовку, кто-то просто сидел и смотрел в одну точку.

Тихон сидел у костра и вытирал винтовку тряпкой, и рядом с ним стояла кружка с водой.

Я остановился и смотрел на него, и не мог сказать ни слова.

Он поднял голову.

— Вельский, — сказал он. — Живой.

— Живой, — сказал я.

— А я думал, тебя в воронке оставили.

— Меня вытащили.

— Кто?

— Рыжий.

Тихон кивнул.

— Молодец рыжий, — сказал он. — А я его не видел.

Он посмотрел на меня и усмехнулся.

— Ты чего стоишь? Садись.

Я сел рядом с ним на землю.

— Я думал, тебя убили, — сказал я.

— Меня-то? — Тихон поднял бровь. — Меня пуля не берёт.

— Мне так и говорили.

— Кто?

— Неважно.

Он помолчал, потом стал рассказывать, и рассказывал так спокойно, будто говорил о чужом деле.

Они дошли до оврага. Там их накрыло, и они залегли. Потом их обошли с правого краю, и они отходили вдоль оврага, и их было человек двадцать, а дошло пятнадцать.

— Мы их не остановили, — сказал я.

— Не остановили, — согласился Тихон. — А что ты хотел?

— Не знаю.

— Вот и я не знаю. — Он сплюнул. — Приказа не было. Мы сидели в окопе, ждали, когда по нам ударят, и они ударили. Кто бы там что сделал.

Он помолчал.

— Тихон, — сказал я.

— Чего?

— А что теперь?

— Теперь? — Он посмотрел на дорогу. — Теперь отходить будем. К вечеру приказ пришёл. Всей частью.

— Куда?

— Куда прикажут. — Он усмехнулся. — Ты как маленький, Вельский. Куда прикажут, туда и пойдём.

Он вернулся к винтовке.

Я сидел рядом и смотрел на людей у склада. Их было мало, и они были уставшие до такой степени, что уже не разговаривали.

И я знал, что на отходе будет то же самое: нас поведут через открытое место, и они ударят снова, и снова нас будет меньше.

Приказ пришёл к вечеру.

Поручик собрал нас у склада. Он был тот самый, с усиками, только шинель на нём была уже не новая, а грязная и мокрая, и одну руку он держал на перевязи.

— Значит, так, — сказал он. — Всей частью отходим за реку. Нашему взводу прикрывать. Выйдем затемно, пойдём по дороге через лощину. Кто отстанет — догонит.

Люди слушали молча.

— Вопросы?

Я поднял руку.

Поручик посмотрел на меня так, будто я его ударил.

— Что тебе?

— Разрешите, ваше благородие.

— Разрешаю.

— По дороге через лощину идти нельзя.

Кто-то за спиной сказал: «Ох ты», и все обернулись.

— Нельзя, — повторил я. — Она простреливается с высотки, вон с той, где кустарник. Если они займут её до нас, они положат нас в лощине за десять минут, и мы даже не увидим, откуда.

Поручик смотрел на меня и молчал.

— Откуда ты знаешь? — спросил он наконец.

— Я вчера был на поле. — Я показал рукой. — Они обошли нас справа по кустарнику, а батарея стояла за оврагом. Если завтра они так же обойдут лощину, мы не дойдём.

— Вчера, — сказал поручик. — Вчера тебя, кажется, не послушали.

— Не послушали, — сказал я. — Потому и говорю.

Он посмотрел на Тихона, будто спрашивал совета. Тихон пожал плечами.

— Он вчера про батарею верно сказал, — сказал он. — Я слышал. Только его никто не слушал.

Поручик ещё немного постоял.

— И что ты предлагаешь?

— Занять высотку, — сказал я. — Всем взводом. Окопаться в полный профиль, не на полштыка. Тогда мы их увидим первыми и прикроем дорогу.

— В полный профиль, — повторил поручик. — Это сколько копать?

— Аршин с четвертью. — Я прикинул на глаз. — В пятнадцать человек — часа два, если не отдыхать. У нас до темноты есть время.

— Два часа, — сказал поручик. — В темноте, на мокрой земле.

— Можно и меньше, если начать сейчас.

Он смотрел на высотку, и я видел, как он думает.

— А если они уже там? — спросил он.

— Тогда мы узнаем это первыми, а не в лощине.

Поручик долго молчал. Потом снял фуражку, вытер лоб и сказал:

— Лопаты есть у сапёрной команды. Две. Остальное — чем придётся.

— Найдём, — сказал я.

— Погоди. — Он поднял руку. — Я тебе не ротный командир и не друг. Ты мне скажи одно: ты уверен?

— Уверен, — сказал я.

— Если ты врёшь, — сказал он, — я тебя отдам под трибунал.

— Если я вру, — сказал я, — трибунал нам уже не понадобится.

Он посмотрел на меня, и в первый раз за всё время мне показалось, что он не просто смотрит на солдата.

— Ладно, — сказал он. — Бери людей. Две лопаты, сколько найдёшь. Копать до темноты. Унтер, ты с ним.

— Есть, — сказал Тихон.

— И вот ещё. — Поручик подошёл ко мне вплотную. — Если высотка окажется пустая и мы там окопаемся, я сам напишу тебе благодарность.

— А если не пустая?

— Тогда я напишу твоей матери, — сказал он.

Он повернулся и пошёл к складу.

Тихон встал и хлопнул меня по плечу.

— Ну, — сказал он. — Довыступался.

— Ты сам сказал, что я верно говорил.

— Я сказал, что верно, а не что тебя послушают. — Он взял винтовку. — Ладно. Пошли лопаты искать, пока он не передумал.

Мы нашли одну лопату у сапёров и ещё две у кухни, и штык-ножи, и топор. Пятнадцать человек, три лопаты, до темноты час с небольшим.

— Успеем? — спросил Тихон.

— Не знаю, — сказал я.

— Мне нравится, как ты командуешь, — сказал Тихон и пошёл вперёд.

Копали до темноты.

Земля была мокрая и тяжёлая, и она не шла, а липла. Лопат не хватало, и половина людей рыла штык-ножами, а кто-то — каской. Я ходил вдоль высотки и показывал, где копать.

— Не в ряд, — говорил я. — В ряд нас всех положат. Вот здесь, здесь и здесь. И бруствер не жалей, бруствер тебе голову закрывает.

— Вельский, — спросил молодой солдат в обмотках вместо сапог, — а глубоко?

— Тебе по грудь. Чтобы стоять и стрелять, а не лежать и молиться.

Он кивнул и стал копать быстрее.

Тихон работал рядом и молчал. Он выкопал свою ячейку первым, потом помог соседу, потом ещё одному.

— Ты где этому научился? — спросил он, когда я проходил мимо.

— Книжки читал.

— Книжки, — сказал Тихон. — Я тоже читал. Только у меня руки помнят другое.

— И что помнят?

— Что копать надо там, где вода не стоит, — сказал он. — А ты выбрал место, где вода.

Я посмотрел на дно его ячейки. Там уже собиралась вода.

— Поздно, — сказал я. — Дальше некуда.

— Поздно, — согласился Тихон и снова взялся за лопату.

Темнело быстро. К тому времени, как мы закончили, высотка стала горбом в темноте, и на ней было девять ячеек и один окоп на четверых.

Поручик пришёл, посмотрел, потрогал бруствер сапогом.

— Хорошо, — сказал он. — А если они не пойдут через лощину?

— Пойдут, — сказал я. — Им нужно занять дорогу до утра.

— Откуда ты знаешь, что им нужно?

— Затем же, зачем нам, — сказал я. — Чтобы по ней ходить.

Поручик посмотрел на меня и ничего не сказал.

Мы залегли.

Ночь была холодная, и в ячейках стояла вода. Я лежал и слушал: как капает с бруствера, как кто-то ворочается, как далеко, за лощиной, один раз ударила пушка и замолчала.

Потом я услышал шаги.

Их было много. Они шли не строем, а вразброд, и в темноте было слышно, как они шуршат по мокрой траве и как кто-то из них тихо говорит.

Я поднял руку.

— Не стрелять, — сказал я шёпотом, и это пошло вдоль окопа. — Не стрелять. Пусть подойдут.

— Вельский, — сказал кто-то рядом. — Они вон уже.

— Не стрелять.

Они подходили. Я видел их уже не как фигуры, а как тени на фоне серого неба, и слышал, как один из них споткнулся и выругался на своём языке.

Я ждал.

Мне нужно было, чтобы они вошли в лощину. Тогда они окажутся ниже нас, и вся их цепь будет как на ладони, и им придётся залечь под огнём, а нам — только перезаряжать.

— Сейчас, — сказал я.

Я выстрелил первым.

Это было плохо, потому что приклад ударил меня в плечо, и потому что я не увидел, попал ли. Но за мной ударили остальные, и весь окоп встал в дым, и мы стреляли вниз, в тени, и они падали и ложились.

Я перезаряжал, вставлял патрон, досылал, стрелял. В темноте не было видно, куда я стреляю, и это было хуже всего.

Потом с правого края лощины ударили по нам.

— Обходят! — крикнул Тихон. — Справа!

Я повернул голову. Справа, в кустах, было видно, как двигаются тени, и как оттуда бьют короткими очередями.

Вот тут мне стало страшно по-настоящему. Потому что если они обойдут высотку, мы окажемся между ними и лощиной, и тогда всё, что мы выкопали, станет нашей могилой.

И в этом страхе я почувствовал их кровь.

Сначала одну, близко, за кустами. Потом ещё несколько, и ещё, и в ушах поднялся тот же гул, что был вчера в воронке, и во рту стало металлическим.

Я знал, что делать. Я уже делал это.

Я потянулся — и остановился.

Потому что вчера в санбате сухой человек с папкой спрашивал, как упал вельдтец. И потому что рыжий сказал: как кто-то упадёт без раны, так они и приходят.

Я лежал в мокрой ячейке, и кровь шла рядом, толчками, и я чувствовал, что могу её сжать.

Я этого не сделал.

— Тихон! — крикнул я. — Держи лощину! Я с правыми!

Я пополз вправо, к краю высотки, и за мной поползли трое или четверо.

— Слушайте, — сказал я. — Они идут по кустам. Мы не будем их ждать. Мы ударим сами.

— Как ударим? — спросил тот же. — Нас четверо.

— Нас четверо, а кричать будет вся высотка, — сказал я. — Как я крикну, все кричат «ура» и стреляют в кусты. Понял?

— Понял.

— И не вставать. Стрелять с колена. Кто встанет, в того я сам стреляю.

Я не знал, поверили ли они мне. Я и сам себе не очень верил.

— Ура! — закричал я.

Вся высотка закричала, и ударила в кусты. Я стрелял и кричал, и рядом кричали, и в темноте это звучало так, будто на высотке не пятнадцать человек, а сотня.

Тени в кустах остановились. Потом попятились. Потом побежали.

— Не догонять! — крикнул я. — Назад! Держать высотку!

Кто-то всё равно хотел бежать, и я схватил его за шинель и уронил в ячейку.

— Сиди, — сказал я. — Нас в кустах ждут.

— А если они вернутся?

— Значит, вернутся, — сказал я. — А мы их встретим.

Он остался.

И только тогда я понял, что у меня трясутся руки, и что я весь мокрый, и что в ушах звенит от выстрелов так же, как вчера в воронке.

Перед тем как стало светать, поручик обошёл высотку и пересчитал людей.

— Двое убитых, — сказал он. — Четверо раненых.

Из пятнадцати.

Он достал огрызок карандаша и записал что-то на бумажке, и спрятал её за пазуху.

— Атаку отбили, — сказал он. — Только хвалиться нечем.

Отходить начали, когда за лощиной стало сереть.

Поручик пришёл по краю высотки, пригибаясь, и сказал:

— Всё. Дорога свободна, часть прошла. Уходим.

— А они? — спросил я.

— Что они?

— Вернутся?

— Может, и вернутся, — сказал поручик. — Только уже без нас.

Мы снялись с высотки и пошли вниз, к лощине.

Я шёл последним, потому что так вышло, и потому что мне всё казалось, что сейчас из кустов ударят в спину. Никто не ударил. Мы прошли лощину, и перешли ручей, и стали подниматься по другому склону, и только там я выдохнул.

На склоне кто-то застонал.

Я обернулся. У куста лежал молодой солдат, тот самый, которого я уронил в ячейку. Он держался за бок, и между пальцами у него было тёмное.

— Ты чего? — спросил я.

— Не могу, — сказал он. — Вельский, не могу.

Я присел рядом.

— Куда?

— В бок. — Он попробовал улыбнуться. — Я и не почуял сразу.

Я посмотрел вперёд. Наши уходили, и их спины уже были далеко, и поручик шёл впереди.

Я мог его оставить. Так делают: раненого оставляют, если он не может идти, иначе двоих потеряют.

Я знал, что так делают. Я про это читал.

— Руку давай, — сказал я.

— Я не дойду.

— Дойдёшь.

Я поднял его. Он был не тяжёлый, но с ним было неудобно, и я сразу отстал. Тихон обернулся и пошёл назад.

— Ты чего? — спросил он.

— Помоги.

Тихон посмотрел на раненого, потом на меня. Потом взял его с другой стороны.

— Ты знаешь, что мы из-за него опоздаем? — спросил он.

— Знаю.

— И всё равно?

— И всё равно.

Он не сказал больше ничего, и мы пошли.

До переправы мы добрались, когда уже совсем рассвело. Паром ходил через реку, и на берегу стояли повозки, и кто-то командовал, и кто-то ругался.

Полковник стоял у парома, широкий, в старой шинели, и смотрел, как грузят раненых.

Я не знал, что это полковник, пока Тихон не сказал мне в спину:

— Не верти головой. Это командир полка.

Я перестал вертеть головой.

Мы положили раненого на повозку. Он был без памяти, и его лицо было серое, как земля.

— Это кто? — спросил полковник.

Он смотрел на меня.

— Рядовой Вельский, третья рота, — сказал я.

— Ты его тащил?

— Так точно.

— Откуда?

— С высотки. Он в бок ранен.

Полковник посмотрел на раненого, потом опять на меня, и его глаза были усталые и злые.

— Ты что, не знаешь, что на переправе раненых бросают?

— Знаю.

— И почему не бросил?

Я не нашёл, что сказать.

— Я его в ячейку уронил, — сказал я наконец. — Как же я его брошу.

Полковник молчал.

Потом спросил:

— Это ты высотку выбрал?

Я посмотрел на Тихона. Тихон смотрел в землю.

— Я.

— Поручик говорит, ты его уговорил окопаться в полный профиль.

— Так точно.

— И в кустах кричал «ура»?

— Так точно.

Полковник хмыкнул. Это было непохоже на смех.

— Кто тебе разрешил командовать? — спросил он.

— Поручик.

— Поручик, — повторил полковник. — А если бы он не разрешил?

— Тогда я бы его уговорил.

— А если бы не уговорил?

Я не нашёл, что сказать.

Он смотрел на меня, и в его глазах было не зло, а что-то другое, будто он запоминал.

— Вельский, — сказал он вслух, будто пробовал фамилию на вес. — Третья рота.

— Так точно.

— Ладно, — сказал он. — Свободен.

Я повернулся и пошёл, и в спину мне он ничего не сказал.

У самой воды я увидел человека в штатском. Он стоял в стороне, без папки, и смотрел на меня, и когда я посмотрел на него, он не отвернулся.

В штаб меня вызвали к вечеру.

Штаб был в избе, за рекой. В сенях пахло щами и мокрой шинелью, и сидел писарь с чернильницей, и в комнате за дверью говорили двое.

Меня ввели.

За столом сидел полковник, а рядом с ним стоял тот самый человек в штатском. Он держал в руках бумагу.

— Вельский, — сказал полковник. — Читать умеешь?

— Умею.

Он протянул мне бумагу.

Это был приказ. Короткий, с печатью, и в нём было написано, что рядовой Артём Ильич Вельский, третья рота четвёртого пехотного полка, переводится в отдельную ударную роту одарённых, в распоряжение Особого приказа.

Я прочитал его два раза.

— Что это? — спросил я.

— Это перевод, — сказал человек в штатском.

— Почему?

— Вы не спросили, почему именно вы, — сказал он. — Спросите.

— Почему именно я?

— Потому что в воронке упал вельдтец, — сказал человек в штатском. — А вы были рядом.

Я посмотрел на него и не сказал ничего.

— К утру будьте готовы, — сказал полковник. — Поедете с ним.

Я вышел в сени, и писарь за столом даже не поднял головы.

Мёртвая рота

Ехали мы двое суток.

Человек в штатском сидел напротив меня в телеге и молчал. Он не спал и не читал, и не смотрел в окно, которого не было, а просто сидел, положив руки на колени, и его лицо ничего не выражало.

На второй день я не выдержал.

— Как вас зовут? — спросил я.

Он посмотрел на меня.

— А вам зачем?

— Чтобы знать, к кому обращаться.

— Обращайтесь «господин надзиратель», — сказал он. — Этого достаточно.

— Надзиратель?

— Надзиратель, — повторил он. — Привыкайте.

Он больше ничего не сказал, и до самой части мы ехали молча.

Часть стояла в лесу, за деревней, которой я не знал названия. Я увидел её издалека: длинный барак, несколько сараев, забор из жердей и вышка у ворот.

У ворот нас встретил солдат с винтовкой, посмотрел бумаги и махнул рукой.

— К куратору, — сказал он.

Куратор сидел в отдельной комнате в конце барака. Это был человек лет сорока, в чистой форме без полевой грязи, с аккуратными руками и тихим голосом.

— Вельский, — сказал он и посмотрел в бумагу. — Артём Ильич. Двадцать лет. Третья рота.

— Так точно.

— Садитесь.

Я сел на табурет.

Куратор отложил бумагу и посмотрел на меня так, будто взвешивал.

— Вы понимаете, куда попали?

— В ударную роту одарённых.

— В отдельную ударную роту, — поправил он. — «Одарённых» пишут в бумагах, а мы говорим «рота». Это не почёт и не награда, Вельский. Это место, куда отправляют тех, кого нельзя держать в обычных частях.

— Почему нельзя?

— Потому что вы опасны, — сказал он спокойно.

Я посмотрел на свои руки.

— Я никого не убивал.

— Убивали, — сказал куратор. — В воронке. Или вы думаете, что вельдтец упал сам?

Я молчал.

— Вот и хорошо, что молчите, — сказал он. — Здесь это правильная привычка.

Он достал из ящика лист бумаги и положил передо мной.

— Читайте.

Я взял лист. Бумага была плотная, с печатью, и текст на ней был написан канцелярским почерком, ровным, как забор.

Я читал медленно.

В бумаге было написано, что я, Артём Ильич Вельский, поступаю в распоряжение Особого приказа, обязуюсь не покидать расположение части без разрешения, не разглашать сведений о даре, не применять дар без приказа и не вступать в разговоры о даре с посторонними.

А в конце было: «За самовольное применение дара — трибунал».

— Прочитали? — спросил куратор.

— Прочитал.

— Подписывайте.

Я взял перо.

— А если не подпишу?

— Тогда вас отправят обратно в полк, — сказал куратор. — И там с вами случится несчастный случай. На войне это бывает.

Я посмотрел на него. Он смотрел на меня без злобы, спокойно, как на бумагу.

Я подписал.

— Хорошо, — сказал куратор. — Теперь клеймо.

— Клеймо?

— Клеймо, — сказал он. — Вставайте и закатывайте рукав.

Он достал из ящика железную палочку с утолщением на конце и подержал её над свечой.

Я смотрел, как железо темнеет, потом краснеет.

— Дайте левую руку.

Я дал.

— Будет больно, — сказал куратор. — Это правильно. Значит, вы живы.

Он приложил раскалённое к моему предплечью.

Я не закричал. В ушах зашумело, и я почувствовал запах, и этот запах был хуже боли.

— Хорошо, — сказал куратор, убирая железо. — Теперь вы в списке.

Я смотрел на свою руку. На ней был знак, маленький, аккуратный, с двумя линиями и кругом внутри.

— Что это значит?

— Это значит, что вы в списке, — повторил куратор. — Список хранится в Особом приказе. Кто в списке, тот под надзором. Кто под надзором, тот служит.

Он открыл передо мной дверь.

— Койка номер двенадцать. Форму получите у каптенармуса. Ужин через час.

Я вышел и остановился на пороге.

Барак был длинный, и в нём стояли койки в два ряда, и на койках сидели и лежали люди. Некоторые были в форме, некоторые в чём попало, и почти все были моложе, чем я думал.

Я посмотрел на свою руку. Кожа вокруг знака уже вспухла, и от неё шло тепло.

Койка номер двенадцать была у окна.

На ней лежал человек, и когда я подошёл, он открыл глаза.

— Новенький? — спросил он.

— Новенький.

Он сел и посмотрел на мою руку.

— Кровный? — спросил он.

— Не знаю, — сказал я.

— Не знает он, — ухмыльнулся Лёнька. — Смотри-ка. Кровный, и не знает.

Он протянул руку.

— Меня зовут Лёнька. А ты?

— Артём.

— Артём, — сказал он. — Ну, здравствуй, Артём. Добро пожаловать в клетку.

Ужин был в том же бараке, за длинным столом, сколоченным из досок.

Каша была лучше, чем в полку, и хлеба давали больше, и к каше полагался кусок сала. Я не сразу понял, почему так смотрят на этот кусок сала: его делили на всех, и заправлял этим Лёнька, аккуратно, чтобы никому не обидно.

— Тут кормят хорошо, — сказал я.

— Ага, — сказал Лёнька. — Кормят хорошо. Только отсюда не уезжают.

За столом нас было человек двадцать. Я старался запомнить.

Напротив сидел парень с обожжённой рукой, и рука у него была красная, будто её ошпарили кипятком. Его звали Мишка, и он всё время что-то жевал.

Рядом с ним сидел тихий человек в очках, с длинными пальцами, и когда он поднимал глаза, все смотрели в свою тарелку.

— Это Гриша, — сказал мне Лёнька. — Шептун. Ты с ним не разговаривай.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.